Юрий Колкер

СОНЕТ НАД МОРЕМ

(2022)

↓

…Ну-с, толкнём этот воз… В 2006 году, в моём сочинении о Георгии Шенгели (1894-1956), я многих важных слов не договорил; я тогда писал в расчёте на читательский отклик и старался экономить силы читателя, не растекался по древу. Теперь — помечтаю вслух, для себя.

Вот сонет Шенгели, написанный в 1920 году и переработанный им в 1937 году:

Здесь пир чумной; здесь каша тьмы и блеска;
Смесь говоров; визг, хохот, плач и брань;
Мундир, голландка, френч, юбчонка, рвань,
Фуражка, шляпа, кепи, каска, феска.

А там — дворец вознес над морем резко
Своих колонн дорическую грань.
Что там сейчас? Военный суд? Железка?
Иль спекулянт жмет генералу длань?

Уставя желтых глаз камер-обскуры,
Толпу пронзает академик хмурый
И, в дрожки сев, чеканит: — Во дворец! —

И липнет некий чин к нему, как сводня, —
Бочком… О чем поговорят сегодня
Ландскнехт продажный и поэт-мертвец?

Перед нами Одесса до окончательного установления в ней большевизма в феврале 1920 года. «Академик хмурый», он же «поэт-мертвец» — тут нет сомнения — Бунин, навсегда покинувший Одессу и Россию в январе 1920 года на борту французского парохода *Spatre*.

Упомянутый дворец — Воронцовский, резиденция местного управления. Какого? Бунин приехал в Одессу 17 июня 1918 года, при австро-немецкой оккупации. Вряд ли он мог запросто поехать во дворец к немецкому начальству, да вряд ли и захотел бы. К немцам Бунин симпатии не испытывал. С конца апреля 1918 до 26 ноября 1918 года Одесса принадлежала Украине гетмана Скоропадского, а гетман опирался на тех же немцев и австрийцев, — опять Бунину незачем во дворец.

Ни про Одессу, ни про Бунина, ни про Воронцовский дворец нет ни слова в примечаниях к московскому изданию Шенгели 1997 года, в книге под названием *Иноходец*. Составитель-комментатор не удосужился задуматься; не догадался даже, что тут необходим комментарий. Издание это драгоценно — как открытие, ведь подлые большевики поэта замалчивали (в советское время Шенгели мог публиковаться только как переводчик… но зато уцелел!). А вместе с тем оно и уродливо — невероятными текстологическими ошибками и невероятным по невежеству примечаниями, где *суперкарго* объясняется как большое карго, а *круазада* — как круиз.

С 26 ноября 1918 года до 23 августа 1919 года Одесса несколько раз переходила из рук в руки. В ней, сменяя друг друга, а иногда и одновременно, распоряжались: польская стрелковая бригада, украинская народно-демократическая директория (Петлюра), Добровольческая армия, войска Антанты (в основном французы и греки), атаман Григорьев (уже советский),

большевики.

Из этого списка Бунина устраивали только добровольцы, то есть белые, но их первое присутствие в Одессе длилось неполных 22 дня, — с 26 ноября по 17 декабря 1918 года, — и они в этот период не были единственными хозяевами города. Вряд ли в Воронцовском дворце мог сидеть белый адмирал Дмитрий Ненюков (1869-1929), стоявший во главе белых; кажется более вероятным, что он оставался на корабле или на территории одесской военно-морской базы. Мог сидеть во дворце — генерал Василий Бескупский (1878-1945), представитель директории. Ни тот, ни другой не подходят под определение Шенгели «ландскнехт», потому что первый — моряк, а второй — кавалерист, тогда как ландскнехт — непременно пехотинец… в предположении, что Шенгели употребил слово ландскнехт ради точности, а не ради красного словца. Ещё вернее отметает эти две кандидатуры уж очень короткий срок их начальственного пребывания в Одессе.

Добровольческая армия вторично утвердилась в Одессе 23 августа 1919 года и продержалась до 6 февраля 1920 года. В Воронцовском дворце, скорее всего, сидел Николай Иванович Шиллинг (1870-1946), генерал пехотный, в «ландскнехты» годящийся. Читаю его биографию и не вижу, почему его можно было бы назвать «продажным». Судьба преинтересная, с превратностями. Шиллинг в 1890 году был выпущен из 1-го Павловского училища в лейб-гвардии Измайловский полк. Он стал командиром этого полка в 1916 году… значит, начальствовал над моим дедом Федором Чистяковым (1889-1935), который состоял там сперва кантонистом, а потом рядовым при броневиках. С 1915 года Шиллинг — генерал-майор. В феврале 1918 года он оказался в отставке в Киеве. В июне 1919 года он генерал-лейтенант Белой армии, командует 3-м армейским корпусом. В августе 1919 года Шиллинг занял Херсон, Николаев, Одессу, с сентября 1919 года он — главноначальствующий Новороссийской области, так что ему — самое место в Воронцовском дворце. В январе 1920 года Шеллинг, как полагают, провалил эвакуацию Одессы… но вряд ли её можно было не провалить, ведь белые сражались и против красных, и против объявившей им войну Украины, и против атаманов, включая талантливого вождя и последовательного социалиста Махно (именно он сорвал наступление Деникина на Москву). В марте 1920 года Шиллинг отчислен от командования. В мае 1920 года, уже при Врангеле, военный суд приговаривает Шиллинга к расстрелу за сдачу Одессы, но приговор отменяют. После сдачи Крыма, с ноября 1920 года, Шиллинг жил эмигрантом в Праге, где дождался прихода Красной Армии, но во второй раз избежал расстрела, потому что и так умирал.

Почему Бунин «поэт-мертвец», понятно: Шенгели — всей душой на стороне советской власти, белое движение кажется ему мёртвым и политически, и нравственно, и эстетически, а Бунин — с белыми. Не мешает помнить, что даже в 1950-е и 1960-е годы все в Совдепии (не исключая и меня) смотрели на вещи примерно так же: русская эмиграция — мертва; всё живое, подлинное, *молодое* — «с нами». Имена Бунина и Ходасевича произносились с презрением: «бывшие»; имени Набокова никто не слыхивал. Ахматову, эмигрантку внутреннюю, Виктор Соснора в стихах называет «древней каргой».

Сонет Шенгели, скорее всего, написан с натуры: Шенгели мог видеть Бунина в Одессе осенью или зимой 1919 года или в январе 1920 года. В Одессе Бунин был на виду, а Шенгели скрывался. Попал Шенгели в Одессу не совсем добровольно. В марте 1919 года, неполных двадцати шести лет, он окончил харьковский университет (по юридическому отделению) и в

мае был отправлен (Москвой, не Киевом) в советский Крым, где 29 апреля была провозглашена Крымская Социалистическая Советская республика во главе с братом Ленина, врачом Дмитрием Ульяновым. Шенгели предназначалась должность комиссара искусств в Севастополе. Но крымская Совдепия просуществовала всего пятьдесят дней. Едва Шенгели приехал, как ему пришлось бежать от Добровольческой армии. С фальшивым паспортом, выданным севастопольскими большевиками, Шенгели пробрался в Керчь, а оттуда — осенью — в Одессу, где и увидел «поэта-мертвеца».

Почему глаза Бунина — камеры-обскуры? Потому что камера-обскура переворачивает изображение. Своим поэтическим тропом Шенгели говорит нам, что Бунин, отвергающий власть советов, видел действительность вверх ногами. Бунин у Шенгели — «хмурый», деталь точная и важная: в «окаянные дни» Бунин месяцами пребывал в подавленном состоянии.

Шенгели в своём сонете спрашивает: «О чём поговорят сегодня / Ландскнехт продажный и поэт-мертвец?» Этот разговор, в предположении, что Бунин действительно ездил «во дворец», нетрудно вообразить. Бунин мог спросить «ландскнехта», будь то генерал Шиллинг или кто-то другой: есть ли надежда? Если разговор происходил в ноябре или декабре 1919 года, то ответ «ландскнехта» был неутешительный; а если — в январе 1920 года, то Бунин уже не спрашивал, а просил «ландскнехта» помочь ему и Муромцевой (ещё официально не жене, они обвенчались в 1922 году) бежать от большевиков в Европу.

Шенгели и другое спрашивает про дворец:

Что там сейчас? Военный суд? Железка?
Иль спекулянт жмет генералу длань?

«Спекулянт», «железка» (карточная игра баккара) — очень советский взгляд на Белую армию, которая с самого своего образования нищенствовала и бедствовала, по численности всегда была крохотной сравнительно с Красной армией, а просуществовала всего два года и четыре месяца. Я, как и все в 1960-е годы, видел Белую армию в камере-обскуре советских фильмов: с балами, банкетами и эполетами, в вихре увеселений, с картами и спекулянтами… Очень, к слову сказать, рискованное это слово: спекулянт. Торговля есть спекуляция. Большевики отменили торговлю в 1918 году, и вся страна разом обнищала. Большевики разрешили торговлю в 1921 году (НЭП), и голода — как не бывало, а рубль стал крепкой конвертируемой европейской валютой. Где нет спекуляции, нет ни процветания, ни просвещения.

В вопросах, которые Шенгели ставит в своём сонете, присутствует, мне чудится, что-то подпольное, чуть ли не зависть. Шенгели строит догадки о месте, куда его не пустят, о компании, в которой его не примут. На зависти — не настаиваю. Но что это взгляд снизу вверх, отрицать нельзя.

«И липнет некий чин к нему, как сводня, — / Бочком…» — тут я вряд ли угадаю, кого увидел Шенгели. Валентина Катаева? Катаев, точно, «лип» к Бунину, притом всю жизнь, хотя талантом едва ли уступал Бунину… вот ведь какую кощунственную дерзость высказываю! — и он, Катаев, по всем признакам, хоть и недолго, был-таки чином в Добровольческой армии (что в советские годы тщательно скрывал), но, кажется, чином столь незначительным (прапорщиком, подпоручиком, много поручиком), что вряд ли мог служить «сводней» для

встречи с генералом. Вопрос о «чине» оставляю открытым. Допускаю и то, что этот «чин» — почудился Шенгели, попал в сонет как плод его поэтического воображения.

✧ ✧ ✧

Остаётся выяснить, хорош ли этот сонет Шенгели…

— Хорош! — иначе зачем я о нём размечтался вслух! Он остановил мою мысль, приковал моё воображение. Картину тогдашней Одессы Шенгели даёт выразительную, ёмкую и компактную — лучше любого кинематографа с эйзенштейновой лестницей. Оценки, произнесённые в сонете, — «поэт-мертвец», «ландскнехт продажный», справедливы они или нет, — на качестве стихов прямо не сказываются.

Картину даже всей гражданской войны угадываю в этих четырнадцати стихах… и лезу в справочники, с подсказки Шенгели восстанавливаю что-то по памяти и по источникам, — как за такое не поблагодарить поэта? Разве я слыхал о генерале Шиллинге? А ведь он — не хуже прочих был генерал. Сложись дела чуть-чуть иначе, его имя могло бы затмить имена Деникина или Врангеля, — превратности судьбы помешали, не его человеческие качества. Разве я помнил о крымской советской республике во главе с братом Ленина? Да и про Бунина, и про самого Шенгели (чья биография полна лакун) — разве лишним было кое-что вспомнить, кое-что прочесть? Нет-нет, спасибо Георгию Шенгели!

А вместе с тем в конструкции «каша тьмы и блеска» — слово каша инородное, случайное, подменяет слово смесь; и первые две строки второго катрена

А там — дворец вознес над морем резко
Своих колонн дорическую грань

выглядят непрописанными, чуть-чуть искусственными, деланными. Колонны Воронцовского дворца — точно, с дорическим ордером, но я не вижу, чтобы колонны (с любым ордером) могли образовать грань, ведь грань, как ни поверни, — плоскость, часть поверхности. И слово резко тут не на месте; оно кажется притянутым для рифмы. И односложные рифмы брань/рвань/грань/длань — они тоже звучат как-то излишне механистично, излишне «резко».

И — таков весь Шенгели. Рифма у него всегда подчёркнуто точна, за что я с благодарностью жму ему руку; тут он идёт против всех своих советских современников, исключая позднего Заболоцкого и Юрия Живаго (позднего Пастернака), идёт — и побеждает, потому что мы же видим, как время расправилось с уродливыми рифмами, маяковскими и евтусенскими вроде «крылечку/кромешный»: их и след простыл. А вместе с тем отмеченная недостаточность, проистекающая от механистичности, присутствует почти во всех стихах Шенгели, органически ему свойственна. Об этом, помнится, я писал в 2006 году. Не перечитываю написанного.

Пристрастие к итальянскому сонету — в этом же ряду моих придирок к Шенгели. Итальянский сонет всегда выглядит восковым цветком на русской почве. Итальянцам что! у них все слова рифмуются, — а по русски слушаешь итальянский сонет и, забывая о смысле, ждёшь рифмы — с вопросом: не сфальшивит ли автор? Есть дивные исключения, да. Лучший русский итальянский сонет — «Поэт, не дорожи любовию народной», но ведь это Пушкин! И у самого Пушкина это стихотворение — в числе самых лучших, самых драгоценных… по мне — оно целиком *Евгения Онегина* перевешивает. Подобного или хоть близкого

к подобному — у Шенгели не нахожу. Но и ни у кого не нахожу.

Он, Шенгели, был поэт настоящий, я никогда этого не отрицал, моя оценка 2006 года излишне сурова. Он много лучше и во всём выше Маяковского, которого так остроумно и основательно критикует, — но быть выше Маяковского — не бог весть какая похвала, ведь Маяковский ни умом, ни талантом не блещет. В чём Шенгели диаметрально противоположен недоучке Маяковскому, так это в его, Шенгели, общей культуре, поистине европейской, заставляющей эпоху Пушкина вспомнить. Эккерман приводит слова Гёте:

> «Изучать нужно не современников и соратников, но великих людей прошлого. Истинно одаренный человек испытывает духовную потребность в общении с великими предшественниками, и как раз эта потребность свидетельствует о его высоких задатках.»

Шенгели — именно таков. В этом, повторюсь, — он прямая противоположность Маяковскому и прямая родня Пушкину. Именно культура и ум внушили ему классическую строгость и аристократическую простоту его стихов («прекрасное должно быть величаво») — в эпоху, когда полагалось кривляться, надевать штаны через голову и непременно уродовать рифму (в этом усматривали свободу!), когда на поводу у «духа времени» пошли лучшие: Ахматова, Пастернак, Мандельштам, не говорю уж о тех, кто прямо угождает черни, красуется в площадном циркачестве, — о Маяковском и Цветаевой.

Почему большевики «не пущали» Шенгели, терпели его только как переводчика? Да вот поэтому: за то, что он — с Пушкиным, а не с социально-близким дыр-бул-щилом. Парадокс и трагедия Шенгели — в том, что политически он-таки был с дыр-бул-щилом, с «новым миром», с большевиками, а расходился с этой чернью — только эстетически. И те — те сразу смекнули, почуяли неладное, распознали чужака.

Но лишь в этой классичности Шенгели — с Пушкиным. Разительное отличие состоит в том, что Шенгели не даётся дивная естественность интонации Пушкина, лёгкость его дыхания. Стих Шенгели почти всегда ломок и труден, в нём видна работа, в нём присутствует усердие… Не развиваю эту тему. Я сто раз говорил, что естественность интонации — столь же несомненный признак (и мерило) таланта, сколь и гётевская преемственность. Шенгели не равен Пушкину, но кто же равен ему? Шенгели — поэт, и стихи его живы спустя десятилетия после его смерти, чего никак не скажешь о Маяковском; вот уж кто на все сто процентов «поэт-мертвец».

Понятно, что насчёт Бунина Шенгели ошибся. Ошибка эта двоякая: Шенгели, во всяком случае в 1920 году, полагал, что Бунин теперь навсегда никому не нужен в новом государстве рабочих и крестьян, что он остался в реакционном прошлом, что литературной эмиграции нет места в русской культуре. Победоносцев с его лозунгом — «Православие, самодержавие, народность» — вот что такое был Бунин для революционно настроенного демократа и атеиста Шенгели. И я на крохотную секунду возьму его сторону. Российская империя Победоносцева не случайно утонула в крови: Россия — «не состоялась», как с горечью произнёс страстный русский патриот Владимир Вейдле, притом — уже во второй половине XX века; отрицать это больше нельзя…

К 1937 году, когда Шенгели поправляет свой сонет 1920 года, он, хлебнув большевизма, мог многое понять, мог переменить своё отношение к Бунину и Совдепии, — но из при-

ведённого сонета этого не видно. Как бы Шенгели удивился, шепни ему кто-нибудь, что Бунину будут бронзовые монументы воздвигать на бывшей родине! А может, и не слишком бы удивился, — ведь доживал же он свою жизнь под сенью болванки Маяковскому, которого вполне и до конца презирал.

Нет, эта сторона дела не очень важна. Кому только не ставят памятников московиты! Мелкоте: Ломоносову, Гоголю, Добролюбову — довольно и этих недотёп, о самых уродливых и не заикнусь, а памятника великому Эйлеру нет как нет, да и могила, кажется, утрачена… Нет, важнее другое: Шенгели и в 1937 году не согласен видеть в Бунине настоящего поэта, иначе убрал бы это определение: «поэт-мертвец». Не думаю, что оно — дань приспособленчеству и тому паническому страху, в котором пребывали все образованные люди сталинской поры. К тому же сонет Шенгели остался в рукописи, опубликовать его было немыслимо. Но и в 1997 году, как мы видели, не всем было очевидно, что речь в сонете идёт о Бунине.

Что я помню из Бунина-поэта? Вот это восьмистишье:

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет — Господь сына блудного спросит:
— Был ли счастлив ты в жизни земной? —

И забуду я всё — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.

Помню эти стихи, да… однако ж — с чувством противоречивым, с восхищением неполным. Потому и помню, что — с одной стороны — тут есть та самая пушкинская естественность, которой так явственно недостаёт Шенгели; а — с другой стороны — изумляюсь ритмической скудости строки «Срок настанет — Господь сына блудного спросит» (вот уж чего у Пушкина не встретишь: недостоверного ритма!), и — главное — вижу тут же, в рифмовке, столь же для меня явственную и невыносимую уступку черни, которой нет и следа у Шенгели. Вижу тень Маяковского…

Нет, до низости прямой и очевидной, вроде цветаевской рифмы «бургомистру/выстрел», тут дело не доходит. Нет и гадостных маяковских рифм… Бунин, уже в эмиграции, как-то написал шуточные стихи на случай с составными рифмами. Берберова спросила его, отчего он не пользуется тем же приёмом в стихах серьёзных, настоящих, «ведь у него выходит не хуже, чем у Маяковского», — чем оскорбила Бунина до глубины души (да так и не поняла причины его вспышки)… Нет, в этом восьмистишьи я всего лишь не могу принять бунинские рифмы «колосья/спросит» и «эти/ответить». Для меня это не рифмы. Скажи я это Бунину — что я усматриваю тут уступку черни, что я вижу тут родство с Маяковским, — я вызвал бы с его стороны столь же сильное негодование и непонимание. Однако ж я стою на своём: рифма приблизительная, с остаточной согласной на конце — приспособленчество, заигрывание с «народом», уступка Смердякову, который в точной рифме видит «существенный вздор-с». Искусство аристократично. Естественность искусства — в его искусственно-

сти. Рифма, изобретение искусственное, должна быть проста, точна — и в известных пределах предсказуема. Непредсказуемые рифмы требуются тем, кому нечего сказать, — для отвлечения читательского внимания, для комуфляжа душевной пустоты.

Парадокс и трагизм поэзии Бунина — в том, что он, открытый консерватор в эстетике (для меня это достоинство), честный и талантливый продолжатель Пушкина, и, разумеется, настоящий поэт, — бессознательно пошёл на поводу у «духа времени», невольно принял хамские приёмы рифмовки, отметающие внутренне благородство стихотворной речи.

Чтобы закончить с этим восьмистишьем, скажу, что и «милосердные колени» Творца — представление несколько языческое, а пожалуй — и хождение в народ, шаг в сторону площади. На секунду опять слышу кирзового Победонсцева с его православием, самодержавием и народностью, — чую ту Россию, которую вполне и до конца любить не могу. В России Пушкина, между прочим, такого не бывало, — не то, что у самого Пушкина, а во всей русской аристократической поэзии золотого века не вижу Бога столь материального, столь приземлённого.

Вспомню и ещё одно стихотворение Бунина, едва ли не самое известное, — *Одиночество*. Вот последняя строфа:

(…) Мне крикнуть хотелось вослед:
— Воротись, я сроднился с тобой!
Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила — и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить…
Хорошо бы собаку купить.

Люблю эти стихи, но опять придерусь: мне тут мучительно мешают два *ку* подряд в последней строке; всякий раз спотыкаюсь… Зато естественность интонации — опять пушкинская. Нет, никак Бунин не «поэт-мертвец»! Пусть он в первую очередь прозаик, рассказчик, но и поэт он живой и подлинный. Если говорить о стихах, он — так я вижу — одного масштаба с Шенгели.

Кто из них мне ближе, Шенгели или Бунин? — Шенгели… Как было бы упоительно воскликнуть, что «великого Бунина» я люблю больше непризнанного Шенгели! Как бы я этим польстил сам себе! Но нет, меня больше влечёт к неудачнику. Может, отчасти потому, что он жил под большевиками, как и я. Россию Бунина я знаю только по книгам (и люблю куда меньше России Пушкина); Совдепию Шенгели — ненавижу, но знаю изнутри. Я застал её сумерки, я лучшие годы прожил в этом проклятом большевистском раю; там, не где-нибудь, как и Шенгели, «я лишился и чаши на пире отцов, и веселья, и чести своей». Я покинул Совдепию с надеждой на Россию Пушкина — и дожил до Путляндии, которая отвратительнее Совдепии… дожил до мысли, что — Россия должна быть уничтожена. Чем скорее она исчезнет, тем лучше. И человечеству лучше, и — русской поэзии лучше, да-да…Что̀ России не будет, в этом я не сомневаюсь.

Не стыжусь сознаться, что я понял Россию с опозданием. Умные люди и в поколении Шенгели понимали её. Вот слова Ольги Фрейденберг:

«Россия, в различных формах, всегда носила в себе одну мечту:

растоптать человека. Это делала православная религия, литература, это вынашивали Толстой и Достоевский, славянофилы, царизм; русская революция была в этом отношении вполне национальна…»

Молодец Фрейденберг: московское кривославие не забыла! Что может быть позорнее этой московской будто-бы-религии? Только Москва.

Шенгели я перечитываю чаще Бунина. Читаю не без придирок, но всегда с благодарностью. Среди прочих — вот это:

Я не знаю, почему,
Только жить в квартале этом
Не желаю никому,
Кто хотел бы стать поэтом.

Здесь любой живой росток
Отвратительно расслабит
Нескончаемый поток
Тайных ссор и явных ябед.

Здесь растлит безмолвный мозг
Вечный шип змеиных кляуз,
Вечный смрад загнивших Москв,
Разлагающихся Яуз.

Здесь альпийского орла
Завлекут в гнилые гирла
Краснопресные мурла,
Москворецкие чупырла…

Потеряв способность спать,
Пропуская в сердце щелочь,
Будешь сумрак колупать
Слабым стоном: сволочь, сволочь!

Пусть дарование Шенгели не испепеляющее (кто без греха?), пусть он уступает лучшим, — он едва ли не чище всех своих советских современников исповедует мою веру, она же — в пушкинской просодии, единственной жизнеспособной струе в поэзии в XXI веке, окончательно оттеснившей на задворки всяческое площадное «новаторство».

7.05.22